

Анна Кушкова

## Посрамление за воровство в системе обычно-правового судопроизводства российских крестьян второй половины XIX — начала XX вв.<sup>1</sup>

Всякий раз, когда речь заходит о праве или о чем-либо, относящемся к области нормативности, мы невольно ожидаем разговора о «строгих» смыслах, однозначно трактуемых принципах и единообразно применяемых законах, без которых, как кажется, некий условный образ «социальной справедливости» становится даже еще более призрачным, чем то, с чем мы сталкиваемся в повседневной реальности.

Подобная универсализирующая установка не работает в отношении обычного права, или права обычая, формирующегося внутри определенной группы людей (отличной от других по географическим, профессиональным, конфессиональным, сословным и иным параметрам) и обслуживающего ее специфические потребности. Особенность такого права — его *«контекстуальный характер»* [Бенда-Бекманн фон 1999: 17] — оно никогда не выражает чисто юридичес-

Анна Николаевна  
Кушкова  
Европейский университет  
в Санкт-Петербурге

---

<sup>1</sup> Работа над статьей была поддержана грантом Американского Совета научных сообществ (ACLS) 2002–2003 гг. (тема исследования — «Обычно-правовая культура российской пореформенной деревни: позорящие наказания»).

кие отношения, но является частью специфической культуры данной социальной группы.

Безусловно, принцип контекстуальности не является прерогативой только лишь обычного права<sup>1</sup>, однако, пожалуй, именно с правом обычно ассоциируется в последнюю очередь.

Применительно к крестьянской культуре пореформенной России существуют два основных подхода к трактовке феномена *обычного права*: оно понимается либо как совокупность государственных законодательных норм, регулировавших юридические отношения внутри сельской общины (обычное право «сверху»), либо как сумма крестьянских правовых обычаев, варьировавшихся от одной сельской общины к другой (обычное право «снизу»). Второй подход, наиболее тесно связанный с этнокультурными особенностями социального взаимодействия внутри каждой локальной традиции, позволяет раскрыть функциональную специфику обычного права<sup>2</sup>, благодаря которой и было возможно, по словам одного из самых известных правоведов второй половины XIX в., «к каждому отдельному случаю применять не строгие и постоянные требования права, но видоизменяемые требования жизни» [Калачев 1878: 7]<sup>3</sup>.

Система обычного права российской пореформенной деревни включала в себя три главных элемента любой правовой системы: правовые представления, институты и практики; в числе последних были и практики наказания. По классификации Е.И. Якушкина, автора наиболее полного четырехтомного указателя по крестьянскому обычному праву второй половины XIX в., существовало десять основных «*обычных наказаний*» [Якушкин 1875: XXXVI]. Некоторые из них «номенклатурно» совпадали с существовавшими наказаниями по общеимперскому праву (напр., *смертная казнь*, *тюремное заключение*, *денежный штраф*), другие же не имели аналогов в системе официальных наказаний и уже своим названием выдавали принадлежность к иной правовой системе. К таким санкциям относились, скажем, *напой* (когда общество «спивало» с нарушите-

- 
- <sup>1</sup> В постоянной вариативности объекта обычно-правовых исследований, определяемой их привязкой к локальному контексту, лишний раз подтверждается идея К. Гирца об аналогии, лежащей в основе изучения права и этнической культуры как таковой: «*Law and ethnography are crafts of place: they work by light of local knowledge*» [Geertz 1983: 167].
- <sup>2</sup> Функциональный критерий лежит в основании одного из возможных определений обычного права, наряду с формальным, гносеологическим и другими (см. [Крюкова 2003: 98]).
- <sup>3</sup> Хотя в наши задачи не входит сравнение этих двух подходов, можно высказать предположение, что в первом случае в поле действия обычного права войдут лишь правовые в строгом смысле слова вопросы, а во втором — и то, что может не иметь отношения к области права, с точки зрения официального законодательства, например, категория *penyтaции* (включая такие ее выражения, как деревенские прозвища), иные типы доказательств народного судопроизводства (например, божба или решение дел «глядя по человеку») и т.д.

ля определенную порцию вина) или *запрягание в повозку* [Там же], а также множество более частных видов наказаний, например, *протаскивание на веревке, подо льдом, из одной проруби в другую* [Якушкин 1896: 493]. Вообще именно в области санкций можно обнаружить наиболее зримые отличия права обычного и официального<sup>1</sup>.

Позорящие, или посрамительные, наказания также относятся к группе «народно-правовых санкций». Вопросы о позорящих наказаниях представлены практически во всех программах по собиранию народных юридических обычаев — и в программе ИРГО, составленной П.А. Матвеевым, и в «крестьянской программе» князя В.Н. Тенишева, и даже в программе Н.Н. Павлова-Сильванского, изданной в 1927 г.<sup>2</sup>

Собранные на основании этих и других программ этнографические материалы с очевидностью показывают, что позорящие наказания также представляли собой достаточно сложную, внутренне дифференцированную систему — характерно в этом смысле, что Е.И. Якушкин говорит о «различных видах посрамлений» [Якушкин 1875: XXXVI]. Действительно, в зависимости от ситуаций, в которых применялось посрамление, можно выделить несколько таких видов: посрамления, связанные с предбрачными отношениями (потеря невинности, посрамление неудачных сватов); посрамление нецеломудренной невесты, происходившее в контексте свадебного ритуала; посрамление за прелюбодеяние (по отношению к тем, кто уже состоит в браке), а также посрамление за воровство. Иными словами, наказание через посрамление применялось за нарушения в двух базовых сферах социальных отношений: нравственности и собственности.

---

<sup>1</sup> Что касается официального судопроизводства, то посрамления к этому времени практически исчезают из применяемого в нем набора санкций. «Обряд публичной казни», когда «преступник, приговоренный к ссылке на каторгу или на поселение, отвозился на место казни на черных дрогах (виновные в убийстве отца или матери — под черным покрывалом) и с надписью на груди о роде вины», а также преломление шаги над головой преступника, стоящего на эшафоте, были отменены в 1880 г.; к концу XIX в. в «Уложении о наказаниях» сохранились лишь «опубликование осужденного через ведомости сенатские, обеих столиц и губернские (ст. 58), выведение из биржевого собрания через биржевого старшину (ст. 1276) и выставление имени в биржевой зале (ст. 127)» [Брокгауз, Ефрон 1898: 236–237]. Все это, однако, не имело отношения к крестьянской обычно-правовой культуре.

<sup>2</sup> Приведем несколько примеров из упомянутых программ: «Какие встречаются случаи позорящих наказаний, и за какие именно действия? Как относится народ к наказанным позорно? Примечание. Во многих местностях в смысле осрамительных наказаний употребляются: вожделение по улице с украденною вещью, отрезание девушке косы или покрытие ее очипком, надевание осрамительных уборов и т.п. Желательно привести те обряды и песни, которыми сопровождается исполнение таких наказаний» [Программа 1889: 56]; «Существует ли обычай представлять вора на суд с поличным, привешенным к нему на шею или на плечи?» [Матвеев 1879: 13]; «Не применялись ли к преступникам позорящие наказания [вождение по улице с украденной вещью, надевание позорных одеяний и т.д.]? Если применялись, то какие именно, как, по чьему приговору и за какие преступные действия?» [Павлов-Сильванский 1927: 485] и т.д.

В данной работе остановимся только на одном виде позорящих наказаний — посрамлении за воровство. На основании имеющихся в нашем распоряжении материалов (около 100 текстов, включая небольшое количество полевых записей) рассмотрены основные особенности этого наказания и его обычно-правовая специфика, сделана попытка показать, как в нем отражаются некоторые черты крестьянской культуры в целом, а также затронут вопрос о сходстве и различии славянских и западно-европейских посрамительных обрядов.

\* \* \*

Ключевыми для обозначения позорящего наказания за воровство являются слова «вождение», «водить»; в самом общем виде посрамление состояло в том, что вора публично «водили» по селу<sup>1</sup>.

Одной из главных особенностей подобного «вождения» было изображение совершенного преступления в акте наказания, для чего похищенное вешали вору на шею, давали в руки, привязывали к телу и т.д. Так, крестьянке, укравшей курицу, «повесили на шею живую курицу и повели с триумфом по селу» [Якушкин 1896: 71]; на вора, пойманного на краже разостланных на лугу «навин» (холстов), «навешивают эту самую навину или холст <...> и водят по селу, или деревне» [РГАЛИ. Ед. хр. 8. Л. 90 об.]; за кражу улья вора заставили «украденный улей <...> пронести по всему селу на шее» [Ефименко 1869: 232]. В некоторых случаях «навешиваться» могла лишь часть украденной вещи: «На виноватого в краже и резании овцы надевают кожу этого животного и водят в таком виде по деревне» [Там же: 232]; укравшей картошку на спину «навяза[ли] пучки картофельной ботвы» [РГАЛИ. Ед. хр. 1. Л. 68]; женщине, укравшей кастрюлю с супом, поставили эту кастрюлю на голову (предварительно вылив суп) и так водили по деревне [Белозер.-03. ПФ-1.14]<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> На Дону существовал также термин *гоньба* [Барсов 1874: 80].

<sup>2</sup> Принцип «наказания в образе преступления» обнаруживается во многих текстах народной культуры, что позволяет говорить о нем как о проявлении некоего универсального механизма сознания. Вспомним, например, тексты обмирания, в которых мучения грешников на том свете изображаются в точном соответствии с совершенными ими на земле грехами: так, подслушивавшая под соседскими окнами и ссорившая людей сплетнями «повешана за зубы; различные змии исходят из уст ее» [Сахаров 1872: 195]; не соблюдавший церковные праздники обречен вечно плясать [Назидательный рассказ... Синого-Канаитского монастыря 1915: 12]; разбавлявшая молоко водою черпает поварешкой воду из колодца — отделяет ее от молока [Назидательный рассказ... Тихвинского Введенского монастыря 1915: 9] и т.д. Имеющий отношение к данной проблеме вывод содержится и в работе А. Энгелькинг «Проклятие. Исследование о народной магии слова» (Вроцлав, 2000): по мнению исследовательницы, кара, которую призывает проклинаящий на голову своего недруга, «является зеркальным отражением вины» (напр., «Ты меня обманул, чтоб тебя Бог обманул!» и под. [цит. по: Ясинская 2003: 53]).

Непосредственный контакт вора и его «добычи»<sup>1</sup> позволял «опознать», «выявить», «обличить» водимого как вора, и в этом смысле «навешивание» украденного служило основой семиотической по своему характеру процедуры узнавания. Если механизм обличения строится на «противопоставлении лица (как феномена истинного и сущностного) личине (как феномену неподлинного и второстепенного)» [Верещагин 1995: 86] и, как правило, предполагает снятие некой «маски», то в данном случае подлинное «лицо» вора открывалось при ее «надевании» — в виде украденных им предметов. Вождение по деревне в таком виде однозначно прочитывалось как свидетельство совершенного преступления<sup>2</sup>. Реализации этого коммуникативного механизма способствовало и то, что соединение вора и украденного предмета как бы воспроизводило ситуацию поимки с поличным, даже если таковая не имела места в действительности<sup>3</sup>.

Таким образом, статус события придавался преступлению через его символическое воспроизведение в акте позорящего наказания; мы обнаружили лишь два примера того, как это дополнялось еще и письменным описанием произошедшего: одному

В этой связи можно вспомнить и принцип *Qua parte peccassent, eadem multuri* (какая часть грешит, та и наказывается), существовавший в правовых традициях многих архаичных культур (ср. обычай отрубать или калечить руку присягнувшего ложно, т.к. клянутся правой рукой; обрезание половых органов прелюбодеям и пр.) [Кулишер 1887: 164–165]. Что касается воровства, то, скажем, в лубочных картинках «казнь <...> вора [изображается] в жении рук и спины (так как руки крали, спина носила)» [Новичкова 1995: 132].

- <sup>1</sup> Тот же принцип лежит и в основе многочисленных магических способов отыскания/наказания вора, в которых действие производилось над предметом, с которым у вора был непосредственный контакт в момент совершения преступления: напр., вещь, которую вор держал в руках, нужно положить «на скрипучее дерево, и вора будет ломкой ломать в то время, когда скрипит дерево» [Якушкин 1896: 420]; чтобы причинить болезнь вору, следует бросить «обрезок или часть того, что осталось на месте кражи, в кузнечный мех или под мельничный жернов» — вор «станет пухнуть и через год умрет» [Матвеев 1878а: 38–39], сжечь вырезанный след вора, от чего последнего станет «корчить» [Тенишев 1907: 156–157]. В этой связи хотелось бы отметить один любопытный парадокс: при том, что воровство является «отчуждением» собственности, способ наказания за него может предполагать воздействие на предмет, в большей или меньшей степени «неотчуждаемо» связанный с вором.
- <sup>2</sup> Восприятие это было столь устойчивым, что могло проецироваться и на другие, не связанные с посрамлением случаи: «Провод по деревне виновных в кандалах в деревенцах приписывается тому, что начальство желает „страмотить“ преступников точно так же, как срамотят и сами деревенцы» [АРГО. Ед. хр. 7. Л. 26].
- <sup>3</sup> Поличное (т.е. то, что самим фактом своего существования «уличает, изобличает», показывает истинное «лицо») часто было обязательным для доказательства вины вора: «Чтобы вора можно было притянуть к суду, его необходимо поймать на месте преступления („поймать с поличным“) <...> Одного подозрения в воровстве народ не считает достаточным: „не пойман — не вор“» [АРЭМ. Д. 1405. Л. 37–38]. Вариант: Не уличен, не вор [Даль 1998 IV: 1001–1002]. Ср.: Вор отъявленный, а улики на него все нет! [Там же: 1000]), Поличное — первый свидетель. Против поличного нет отвода [Даль 1998 III: 657] и др. Вопрос о поличном имеет отношение к вопросу о статусе и видах доказательств в народной юридической практике, который, впрочем, составляет отдельную исследовательскую проблему.

вору «привязали на шею дощечку, на которой описали его проступок, и затем заставили его простоять некоторое время около обокраденной им лавки» [Якушкин 1896: 92; Костров 1876: 115]<sup>1</sup>. Впрочем, подобные примеры скорее представляют собой исключения.

Следующей обязательной чертой посрамления был его публичный характер. В подавляющем большинстве описаний указывается на то, что наказывала вора «вся деревня», «толпа народа» и т.д. (напр., [Заметки 1865: 493; Успенский 1859: 40; РГАЛИ. Ед. хр. 7. Л. 4]). Принцип вовлечения всех жителей деревни в посрамление вора мог закрепляться в самом сценарии вождения: так, в некоторых традициях процессия приостанавливалась у каждого дома, где вора спрашивали: «*Не утерялось ли чего?*» [Ефименко 1869: 232], в других — заставляли вора «*кланяться хозяину [каждого] двора и просить у него извинения в том, что он учинил кражу*» [Доброленский 1886: 4]; иногда могли обходить все дома деревни и перед каждым бить вора розгами (напр., [Якушкин 1896: 79]). Даже в тех случаях, когда инициаторами и главными исполнителями позорящего наказания была небольшая группа людей (напр., деревенский мироед [Якушкин 1896: 70–71], «вечно пьяные» «деревенские десятники» [РГАЛИ. Ед. хр. 1. Л. 68] или «пьяницы-горлохваты» [Еланский 1861: 122–123]), избежать публичности было невозможно.

Некоторые описания содержат указания на половозрастное разделение функций между исполнителями позорящего наказания. Как правило, ведут вора мужчины, а женщины и дети выполняют роль сопровождающих [Воронов 1900: 93; РГАЛИ. Ед. хр. 1. Л. 68; РГАЛИ. Ед. хр. 11. Л. 85]<sup>2</sup>. Лишь в одном экспедиционном примере информантка, наоборот, отводит главную роль женщинам: «*Бабы водили, дак <...> Бабы водили, бабы по деревне водили. Ну вот, проведут раза три, потом поймет — и не станет воровать*» [Белозер.-03. ПФ-3.8]<sup>3</sup>. Возможно, в данном случае это объясняется тем, что «производственный коллектив» фер-

<sup>1</sup> Интересно, что мотив словесного описания появляется в рассказе, относящемся к более позднему времени (приблизительно к началу 30-х гг. XX в.). По словам информантки, женщины, которая воровала со скотоводческой фермы, повесили табличку с описанием ее проступка и так водили по деревне: «*Лозунов [видимо, «лозунгов». — А.К.] напишут на груди у ёй, и ведут*» [Белозер.-03. ПФ-3.8. КИЯ]. Впрочем, трудно точно сказать, было ли это обусловлено «всеобщей грамотностью» в советской деревне или же являлось свидетельством постепенного исчезновения обычая посрамления в его более традиционном виде.

<sup>2</sup> По замечанию известного историка Э.П. Томпсона, в западно-европейской традиции посрамление являлось чуть ли не единственным случаем, когда дети получали право агрессии по отношению ко взрослым [Thompson 1993: 490–491].

<sup>3</sup> В позорящих наказаниях других типов (за сексуальные преступления) гендерное распределение, как правило, выражено более четко: так, в случае прелюбодеяния жены главным исполнителем такого наказания обычно бывал муж, который мог передавать «кочередь» другим мужчинам деревни [напр., АРЭМ. Д. 1108. Л. 21].

мы, в котором работала информантка и который осуществлял наказание, был преимущественно женским.

На наш взгляд, ситуация посрамления вора может служить примером «расширения» субъекта наказания. Роль хозяина украденной вещи, за редкими исключениями, особо не выделялась: как правило, он принимал участие в «вождении» наряду со всеми остальными<sup>1</sup>. Возможно, это объясняется коллективным отношением к собственности, чему не чуждо было народное правосознание конца XIX в. Достаточно вспомнить о том, что крестьянская экономика в пореформенной России фактически зиждилась на представлении о семейной (т.е. коллективной) собственности, не имевшем соответствия в официальном законодательстве (см., напр., [Оболенский 1894: 9–10]). Не исключено, что воровство, особенно если оно повторялось регулярно, актуализировало отношение к собственности как к некоему общему ресурсу, оказавшемуся под угрозой. Украд у одного, вор создавал потенциальную угрозу для остальных: кража у кого-либо из односельчан естественно порождает страх за свое собственное имущество.

Так или иначе, субъектом наказания становилось все крестьянское сообщество, в чем исследователи XIX в. видели доказательство общинного характера крестьянского правосудия как такового. Участие «всей деревни» в вождении вора позволяет говорить и об особом напряжении частного/публичного как двух семиотических пределов ситуации посрамления: совершенный максимально скрытно от всех, акт воровства теперь выставлялся на всеобщее обозрение<sup>2</sup>.

Следующий важный аспект посрамления за воровство — путь, по которому вели вора; здесь существовали два основных варианта. В первом (наиболее часто встречающемся) варианте вора водили по всей деревне, иногда неоднократно, и, как уже отмечалось выше, с заходом в каждый двор: «Провожают вора с од-

---

<sup>1</sup> К таким исключениям можно отнести имеющийся у нас текст о пасечнике, который собственноручно поймал пчелиных воров и провел их по деревне с чашкой меда в руках, хотя главная его цель все равно состояла в том, чтобы «посрамить воров перед народом» [РГАЛИ. Ед. хр. 1. Л. 23]. Сходный случай описывает и П.С. Ефименко, называя его «Наказание вора собственными руками хозяина украденной вещи» и возводя к «древнему узаконению», согласно которому обвиненный по уголовному делу «отдавался головою обиженному, который мог с ним поступить по закону, мог и простить» [Ефименко 1869: 278].

<sup>2</sup> В этой связи следует вспомнить, что семантика слова *позор* включала в себя как значение «зрелище, что представляется взору» (ср. *Девка позорная* (южн. зап.) — видная, приятная на взгляд, красивая), так и значение «стыд, поруганье, поношенье, бесчестье, срам» [Даль 1998 III: 600]). Ситуация позора как осуждения конституируется внешним взглядом, т.к. «предполагает оценку поведения субъекта со стороны общества», и поведение это таково, что «подрывает его репутацию в глазах других» [Булыгина, Шмелев 2000: 227, 225]. Публичный характер вождения вора, при котором он становится объектом всеобщего внимания и посрамления, представляет собой пример сочетания обоих упомянутых смыслов.

ного конца деревни по другой и водят несколько раз» [АРЭМ. Д. 1715. Л. 4]; «водили по всем улицам» [Еланский 1861: 122–123]; «провел их [воров] два раза по всей деревне» [РГАЛИ. Ед. хр. 1. Л. 23]. В ряде случаев вора подводили ко двору каждого дома, где он, например, должен был просить прощения (напр., [Доброленский 1886: 4; Якушкин 1896: 79]). Вора, иными словами, «обводили» по территории всего пространства, «равновесие» которого было нарушено в результате совершенного им преступления. Действие это, видимо, носило двоякий характер. С одной стороны, оно было актом покаяния, а с другой — выполняло своеобразную превентивную функцию, символически предвзя — и тем самым предотвращая — возможный приход вора в каждый из деревенских домов именно *в качестве вора*. Последнее в определенной степени подтверждается практиковавшимся иногда обычаем подводить нецеломудренную невесту «*ко всем предметам сельскохозяйственного промысла (пашням, лугам, огородам, скоту)*», чтобы тем самым предотвратить приносимое ею в дом несчастье (неурожай, падеж скота, исчезновение приплода в хозяйстве и пр.) [Брандт 1900: 100; Зеленин 1916: 1088–89 и др.]. Представление преступника/нарушителя в его «истинном облики» должно было уменьшать (а в идеале и устранять) возможность реализации исходящей от него угрозы в дальнейшем. В случае нечестной невесты это происходило в ограниченном пространстве дома, в который она принималась, в случае вора — в масштабе всего деревенского социума, каждый член которого был его потенциальной жертвой.

Пример максимального передвижения представлен в наших текстах следующим описанием: [воров] «*проводят несколько раз вдоль улицы <...> А если покража довольно значительная, то <...> водят виновных и по соседним деревням*» [РГАЛИ. Ед. хр. 7. Л. 4; разрядка наша. — А.К.]. Однако, судя по нашим материалам, такой случай нетипичен — обычно, следуя правилу «*наш преступник — нам его и наказывать*» [Брандт 1900: 116], «своего» вора подвергали посрамлению в пределах своей деревни.

Иногда при описании вождения особо отмечается скорость движения: «*Ведут виновного тихо, чтобы, как говорят крестьяне, посрамить его при всем честном народе, чтобы все знали вора*» [Матвеев 1878а: 15]. Медленное передвижение, помимо того, что оно создавало оптимальные условия для обозрения, являлось элементом символического вокабуляра целого ряда ритуально-обрядовых действий народной культуры. В частности, можно отметить аналогии с похоронным обрядом — водимых по деревне воров могли намеренно обрядовать по образу и подобию покойников: «*Наденут украденное. Холсты — женщина. Опутали крестом холстами. Как покойника завернули в холсты. Позади староста идет, за ним народ*» [АРГО. Ед. хр. 6.



Л. 33]<sup>1</sup>. В связи с малым количеством примеров подобного рода ответ на вопрос о том, можно ли в данном случае говорить о моделировании временной социальной смерти преступника, т.е. насколько правомерна эта метафора и на уровне плана содержания посрамительного обряда, мы пока оставляем открытым. Однако говорить о приписывании преступнику «инаковости», «чужести» кажется возможным. Так, некоторые исследователи интерпретировали образ вора с навешенным на него украденным как «перенесенный в мирный гражданский быт способ обращения с врагами-пленниками» ([Кулишер 1887: 162]; тж. [Якушкин 1875: XXXVIII]), т.е. сравнивали его с образом «чужого» по преимуществу. Некоторые примеры позволяют также предположить, что социальное отчуждение вора могло выражаться через присвоение ему животных атрибутов — например, когда вору на шею навешивали коровий колокольчик [РГАЛИ. Ед. хр. 7. Л. 4—4 об.; Белозер.-03. ПФ-1.12. ПЕА]<sup>2</sup>.

Обращают на себя внимание параллели между описываемым обрядом и календарными ритуалами типа «вождение ряженого», центральным персонажем которых выступал странно наряженный зооморфный или антропоморфный персонаж («коза», «конь», «русалка» и пр.), которого в зависимости от целевой установки обряда водили по селу с обходом всех домов, вдоль села за его пределы и обратно и т.д. Персонажу этому приписывалась пассивность, а в завершение ритуала он становился объектом применения насилия со стороны участников процессии: ему отрубали голову, сжигали, вешали, т.е. совершали «символический суд и казнь» [Виноградова 1993: 24, 28]. Значимым является и отмечаемый автором «терминологический параллелизм типа „водить//хоронить“» [Там же: 27—28].

Не исключено, что общность символических средств выражения и некоторых элементов содержания у ритуалов типа «вождение ряженого» и позорящих наказаний не случайна. Как отмечает М. Инграм в работе, посвященной обрядам типа «шаривари» в Англии Нового времени, рассмотрение таких обрядов лишь с точки зрения их правовой или «квазиправовой» природы недостаточно для понимания их специфики.

<sup>1</sup> Здесь можно вспомнить и такие действия по наказанию неизвестного вора, как переворачивание свечи, чтение заупокойных молебнов или «отпевания» на месте преступления и пр. (ср. [наведение порчи на вора имитацией обряда отпевания на месте совершения кражи]: «Портеж на вора осуществляли индивидуально или всей деревней» [Логинов 1993: 104]).

<sup>2</sup> Подобную «бестиализацию» можно обнаружить и в другом виде позорящих наказаний — за прелюбодеяние, когда нарушителей (обычно жен) впрягали в повозку вместо лошади (напр., [АРЭМ. Д. 1108. Л. 23]). Животная метафорика характерна также для описания самих «сексуальных преступлений», в частности того, что сейчас мы бы назвали «гражданским браком»: «попесьи (т.е. „по природе, по обычаю псов, по-собачьи“) — Попесьи живут, и не венчаются» [Даль 1998 III: 779].

«Столь же важно, — отмечает исследователь, — понимать их тесную связь с праздничными ритуалами, в частности входящими на летний и зимний календарный циклы» [Ingram 1984: 93–94]. Типологическое сравнение ритуалов календарного цикла и обрядов, относящихся к области обычного права, представляет собой отдельную исследовательскую задачу; пока же отметим лишь один интересный аспект. В западно-европейской традиции действия по уничтожению центрального персонажа ритуала производились именно в контексте посрамительных наказаний — а именно в тех случаях, когда вместо нарушителя выступал его ритуальный заместитель, или двойник (например, изображающая его кукла) [Thompson 1993: 473, 480]. В восточно-славянской традиции замещение было возможно (вообще «заместительное наказание» в юридической литературе конца XIX в. рассматривалось как характерная черта именно обычно-правового судопроизводства), однако в тех случаях, когда посрамлению подвергался не сам нарушитель, его, как правило, замещал один из ближайших родственников: отца могли наказать за сына, мужа — за жену<sup>1</sup>. «Причастность», если не «соучастие» в преступлении, могла, таким образом, осмысляться в терминах семейной (т.е. опять же коллективной) ответственности. Примеров выбора «случайного», «первого попавшегося» заместителя нам не встретилось, как не обнаружилось и случаев замещения вора символическим зоо- или антропоморфным персонажем<sup>2</sup>.

Между тем в отсутствии свидетельств о совершении символической казни над ритуальными заместителями вора в посрамительных обрядах восточно-славянской традиции часто присутствуют элементы физической расправы над нарушителем: «За кражу свинины провели по всему селу, били. На лычко навязали мясо, да в руки взяли; по лицу били мясом» [АРГО. Ед. хр. 6. Л. 27]; «сенному вору» «навязывают <...> вязанку сырой травы и заставляют его нести ее по деревне, причем крестьяне иногда стягают его кнутами по голым ногам» [АРЭМ. Д. 1120. Л. 6]; крестьянина, укравшего барана, постановили «провести по улицам села с бараном, подводя его к окну каждого жителя, и пред каждым домом давать ему по одному удару» [Якушкин 1896: 79] (тж. [Надеждинский 1881: 283; РГАЛИ. Ед. хр. 7.

<sup>1</sup> Ср.: [мужики] «отправились <...> к дому одного из воров, взяли его отца 65-летнего старика и, связав ему руки назад, сказали такие вины: так как ты и сам был замечен в воровстве, так значит тому же учишь и сына, и следовательно, в теперешнем случае ты должен быть виноват <...> Порешивши таким образом, толпа повела связанного старика по улицам» [Заметки 1865: 493]; [крестьянка украла тулуп] «в остростку прочим ворам и для того чтобы муж жене давал уем, одели Афанасия [мужа. — А.К.] в краденый тулуп и водили по всем улицам с барабанным боем» [Еланский 1861: 122–123].

<sup>2</sup> Для сравнения: в Западной Европе кроме «куклы» преступника мог замещать т.н. «проху» — например, один из соседей или просто молодой человек [Thompson 1993: 472].

Л. 29—29 об.; Ефименко 1869: 232]). Коллективный характер насилия позволял максимально анонимизировать его исполнителей, тем самым снимая личную ответственность с участников посрамительного действия и предотвращая угрозу индивидуальной мести со стороны вора: *«каждый из толпы <...> имеет право наносить виновному удары по какой угодно части тела [вора]; преимущественно однако бьют по шее сзади, так что неизвестно — кто бьет вора»* [Матвеев 1878б: 15]<sup>1</sup>. Нередко после проведения по деревне сход дополнительно приговаривал вора к наказанию розгами [Зеленин 1915: 524; АРГО. Ед. хр. 6. Л. 28—29; РГАЛИ. Ед. хр. 8. Л. 91 и под.].

Помимо того что физическое насилие в данном контексте можно рассматривать как своеобразную компенсацию за отсутствие «казни», хотя бы и символической, его применение важно и для осмысления функций посрамительного обряда как такового.

Воровство представляет собой конфликтную ситуацию, затрагивающую интересы не только его непосредственной жертвы, но любого члена социума, который может оказаться на ее месте. Ритуализация общественных санкций за покушение на чужую собственность должна была адаптировать социальную агрессию, облекая ее в символические формы, и в итоге способствовать восстановлению баланса социальных отношений, нарушенных в результате преступления. Однако большинство имеющихся в нашем распоряжении описаний скорее свидетельствует о том, что физическое насилие было составной частью посрамительного обряда. Нередко наказание вора из публичного посрамления превращалось в канализацию долгое время сдерживаемой агрессии толпы, и на воре вымещались и накопившийся постоянный страх быть обворованным, и неудовлетворенная злоба от невозможности покарать за уже совершенное преступление. Виновные вынуждены были просить у начальства защиты от общества. Более того, к конокрадам во второй половине XIX в. продолжала применяться практика самосуда, т.е. коллективного и обычно очень жестокого убийства<sup>2</sup>. Таким образом, насколько позволяют судить наши материалы, посрамительные наказания в России фактически

---

<sup>1</sup> Интересно в этой связи вспомнить, что в современных рассказах о деревенских драках, когда кого-либо ранят или даже убивают, как правило, оказывается, что никому «неизвестно», кто конкретно это сделал.

<sup>2</sup> Применение понятия «самосуд» в расширительном смысле как «наказание своими силами» неточно; в строгом смысле слова самосуд означает именно коллективное убийство преступника. Характерно, однако, что иногда в таком значении оно используется именно для описания ритуала посрамления вора: *«Самосуд, как обычное явление, почти исчез, и лишь слабым отголоском его является вождение вора с украденною вещью по деревне»* [Харузин 1889: 8].

перестают составлять альтернативу наказаниям, основанным на физическом насилии (как обычно-правовым, так и официальным), и создают удобную ситуацию для их «санкционированного» применения.

В то же время для посрамительных обрядов в Западной Европе отмечается отход от прямого физического воздействия на нарушителя [Thompson 1993: 485]. Многие исследователи согласны с тем, что такие обряды позволяли «переориентировать насилие», сдерживая его в определенных границах (в частности, за счет того, что объектом наказания мог становиться ритуальный заместитель нарушителя).

На наш взгляд, подобное отличие может, в частности, обуславливаться несовпадением правовых сфер применения посрамительных наказаний в России и западно-европейских странах. В последних это были не столько преступления как таковые (т.е. не то, что определялось или могло бы быть определено как преступление в официальном законе), сколько те или иные отклонения от гендерных норм поведения и нарушения сексуальной этики (главенство жены над мужем, слишком большая разница между вступающими в брак, супружеская измена, брак вдовых).

В этой связи характерно почти полное отсутствие упоминаний посрамления за воровство в западно-европейских работах<sup>1</sup>. Даже будучи мелким, оно, видимо, попадало в категорию «преступления» и как таковое, скорее всего, разбиралось в иных инстанциях и иными способами. Те же нарушения, которые в эту категорию не попадали, отдавались на откуп сообщества, социальные отношения которого были поставлены под угрозу.

Впрочем, высказанное предположение носит гипотетический характер; комплексный ответ на вопрос о статусе и функциях посрамительных наказаний в разных культурных традициях предполагает последовательное сравнение систем обычного права этих традиций (включая представления о праве и его составляющих, народно-юридические практики, инстанции обычного судопроизводства и т.д.), что выходит за пределы данной работы.

Вернемся к вопросу о передвижении в контексте позорящего наказания. Если в первом варианте категория «пути» является одной из основных и, собственно, определяет тип ритуального действия как «вождения», то во втором варианте вора вообще могли лишать возможности двигаться, выставляя на

<sup>1</sup> Ср.: «*Demonstrations were occasionally directed against thieves*» [Ingram 1984: 92].

каком-либо доступном для обозрения месте: «на ярмарке <...> в случае чего-либо подобного [воровства. — А.К.], народ сам разделяется с виновным: привязывает его к дереву» [Лоначевский 1875: 132]; «Торговцы <...> привязали вора веревкой к телеге, и каждый из проходивших мимо считал своею обязанностью плюнуть ему в лицо» [Якушкин 1896: 109]. Из одного описания следует, что такому наказанию могли подвергать, помимо «свежепойманных» воров, и тех, кто был замечен в воровстве ранее: «Чуть бывало кто „прикрадется“ на ярмарке, <...> такого немедленно ведут к одной из этих лип и привязывают к ней на целый день, а на шею цепляют похищенный предмет. Случалось и так, что при сем удобном случае громада какого-нибудь села начинает припоминать, кто из их односельчан в течение года был особенно неразборчив в своем и чужом, такого тоже выставляли на публичный позор под липами» [Якушкин 1896: 88]. При кажущейся противоречивости с тем, что было сказано выше о семантике вождения, данный вариант посрамления может рассматриваться как гиперболизированное выражение пассивности водимого, «отчуждение» от него права на какое бы то ни было действие вообще (вспомним хорошо известную практику выставления преступников у позорного столба).

Кроме того, в подобных случаях могло иметь значение место, куда ставили вора, — так, в одном случае «судьи приговорили поставить вора на стоянку, около церкви» [Труды 1874 V: 87], что должно было особо подчеркивать греховный характер его поступка<sup>1</sup>. Предельным выражением «нулевого движения» могло быть закапывание преступника в землю, свидетельства о чем иногда встречаются в этнографической литературе: «В древние времена <...> вора живого закапывали в землю вместе с украденной вещью» [Быт 1858: 40]<sup>2</sup>.

Следующей важной и универсальной чертой позорящих наказаний было создание шумовых эффектов: «Следом за ней [воровкой. — А.К.] шла вся молодежь и своим буйным криком и свистом оглашала воздух; к этим крикам еще присоединились удары палками в доски, кружки и т.п. и крик курицы, висевшей на шее у несчастной» [Якушкин 1896: 71]; «Вооружаются некоторые железными заслонами и косами, с барабанным боем, с

<sup>1</sup> В некоторых случаях церковь могла быть тем местом, где объявлялось о совершенном воровстве: «В лесных местностях Вологодской, Костромской и Вятской губерний еще жив обычай заявлять о пропавшем в церкви, и в крайне случае на базаре, обращая на себя внимание шапкой, приподнятой на длинной палке» [Максимов 1869: 81]; тж. [Ефименко 1869: 224].

<sup>2</sup> Семантика **неподвижности**, вероятно, имеет отношение к **смерти** как высшей мере наказания (о ряде «болезнь — смерть — обращение в камень», последнее из которых является «самым страшным» наказанием, см.: [Белова 1999: 27]).

литаврами с песнями и пляской провожают вора с одного конца деревни по другой» [АРЭМ. Д. 1715. Л. 4]. Шумовая какофония в противоположность нормальным, упорядоченным звукам была свидетельством «неправильности» всей ситуации, а также воспроизводила момент поимки вора, как правило сопровождаемый криками, свистом и пр.

Иногда же описание посрамления удивительно напоминает картину деревенского праздника: так, в одном случае *«играли на гармошках, иные плясали, иные пели <...> заставляли плясать самого вора»* [АРЭМ. Д. 315. Л. 3]; в другом — староста специально по такому случаю распоряжается *«пригласить деревенскую музыку»* [Якушкин 1869: 360]. В одной казацкой станице *«местное правление содержало общественного (т.е. на средства общества) медведя специально для того, чтобы сопровождать с ним процессию посрамления вора»* [Мануйлов 1998: 17]. Посрамление могло быть специально приурочено к деревенскому празднику: по решению одного из сельских обществ приговор о наказании должен был быть приведен в исполнение *«в первый праздничный день»* [Якушкин 1896: 69]. Описание наказания вора, обокравшего отставного солдата, напоминает военный смотр, во время которого *«истец-солдат приговаривал: „Вот так, по-военному, вот так, по-военному“»* [Еланский 1861: 122–123].

Сочетание «конфликтности» и «карнавальности/праздничности» кажется далеко не случайным. Сходная ситуация нередко создавалась, например, в публичных ссорах и драках, во многом удовлетворявших повседневную потребность в зрелищности<sup>1</sup>. Позорящее наказание могло становиться своеобразным «уличным театром» (*«каждый рад даровому зрелищу»* [Назарьев 1872: 150]), а веселье зрителей — психологической компенсацией за страх оказаться на месте очередной жертвы, а возможно, и выражением радости от того, что в данный момент этой жертвой оказался кто-то другой<sup>2</sup>. В совокупности с коллективным насилием это должно было укреплять «общественный фронт солидарности» против пойманного преступника, который в некотором смысле становился козлом отпущения за воровство как таковое.

<sup>1</sup> Ср.: *«Когда бабы дерутся <...> то таскают одна другую за волоса и пускают в дело зубы <...> Сбе[гаются] соседи посмотреть „на камедь“ <...> это любимое зрелище крестьян»* [АРЭМ. Д. 805. Л. 19–20].

<sup>2</sup> Говоря о психологии зрителей, следует, на наш взгляд, обратить внимание еще на одно обстоятельство. Видимо, при обнаружении пропажи не всегда было сразу ясно, кто в ней повинен; до тех пор пока теми или иными способами это не устанавливалось, создавалась «презумпция виновности» в отношении если не всех, то, по крайней мере, многих жителей деревни. Возможно, что коллективное посрамление вора уже во время «вождения», так же, как и применение к нему физического насилия, можно рассматривать как компенсацию или месть односельчан за подобное подозрение (см., напр. [Успенский 1986: 64]).

Кроме того, приведенные выше примеры «театрализации» позорящих наказаний указывают на то, что они не были столь спонтанными и «беспорядочными», как это может показаться на первый взгляд. Очевидно, что детали этого ритуального наказания могли быть продуманы, а процедура адаптирована к конкретным обстоятельствам преступления и особенностям местного сообщества.

Говоря о зрелищности посрамления, важно отметить и его смеховую составляющую: «вождения» воров часто описываются как нечто «веселое», сопровождаемое смехом (напр., «*Свекор унес у снохи курицу (приданку) пропить и спрятал в штаны, его водили по селу, ударят в зад, а курица закричит. Все смеялись*» [АРГО. Ед. хр. 6. Л. 49])<sup>1</sup>. Это, видимо, особый, унижающий смех, по сути близкий к враждебности как эмоциональной доминанте всего действия, однако полностью с ней, конечно, не совпадающий. Коллективность высмеивания как его обязательная черта в ситуации позорящего наказания подтверждает идею А. Бергсона о том, что смех есть «*вид общественного жеста*», возникающий тогда, «*когда соединенные в группу люди направляют все свое внимание на одного из своей среды, заглушая в себе чувствительность и давая волю одному только разуму*» [Бергсон 2000: 19, 13–14].

Атмосферу праздничности создавал и обычай коллективно «спивать» с вора определенную сумму денег; «напой» мог быть как самостоятельной, так и дополнительной по отношению к собственно посрамлению санкцией. Так, вора могли приговорить сразу к нескольким наказаниям: «*Присудили виновного <...>, во-первых, уплатить штраф в размере 30 р., во-вторых, украденный улей <...> пронести по всему селу на шее, в-третьих, подвергнуть подсудимого телесному наказанию пяти ударам розог на каждой улице и возле сельской корчмы, и, в-четвертых, купить громади и судьям ведро водки*» [Якушкин 1896: 63]<sup>2</sup>. Однако «мир» мог выбрать и лишь какое-то одно наказание: «*А если найдут виновного крестьянина, то его наказывают двойко: или выпивают с него несколько ведер водки (обыкновенно от одного до трех ведер), или навязывают ему вязанку сырой травы и заставляют его нести ее по деревне*» [АРЭМ. Д. 1120. Л. 5–6]<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> «Посмеяние», собственно, является одним из синонимов «посрамления» (напр., [Даль 1998 III: 782]).

<sup>2</sup> Данный пример имеет отношение к практике многократного наказания за одно и то же преступление, возможной в крестьянском обычном праве и составлявшей одно из его отличий от права официального.

<sup>3</sup> Помимо пропития имущества вора, потребление алкоголя вообще было крайне значимо в контексте всей ситуации воровства. Сильное опьянение, исключавшее, так сказать, «вменяемость» вора, считалось «смягчающим обстоятельством» при совершении кражи [АРЭМ. Д. 1707. Л. 50]. Подношением «миру» водки могло «покупаться» «разрешение» воровать в

Практика «напоя» за счет нарушителя интересна в связи с тем, что позволяет обозначить пределы общественных санкций в контексте обычно-правовых наказаний.

С одной стороны, будучи мерой альтернативной, она создавала пространство для взаимной договоренности между участниками конфликта: «подношением миру» можно было откупиться как от наказания розгами, так и от самого посрамления: *«Можно угостить стариков — сечь не будут»* [АРГО. Ед. хр. 6. Л. 35–36]; *«Чтобы избежать обычного за воровство страму, они [воры. — А.К.] согласились выдать шесть рублей на ведро для „суседей“»* [АРЭМ. Д. 315. Л. 3]. Достигнуть подобной договоренности удавалось, очевидно, не всегда<sup>1</sup>, однако даже в этом случае у обвиняемого оставалось определенное «право голоса».

С другой стороны, поскольку «спивание» магарыча было, по обычно-правовым представлениям крестьян, «санкционировано» самой ситуацией (ср.: *«Э, брат, ты хочешь на сухую отделаться; нет, по-русски так не мирятся»* [Еланский 1861: 122–123]), оно могло принимать форму коллективного грабежа (как это ни парадоксально в контексте рассматриваемой здесь темы). Нередко жаждущие справедливого возмездия односельчане принудительно продавали и пропивали самое необходимое имущество преступника: *«Общество обдирало его, т.е. насильно снимали с него платье, шапку, сапоги и закладывали кабатчику или продавали тут же с аукциона желающим из присутствующих»* [Барсов 1874: 80]; *«Заставили его [вора. — А.К.] продать корову за 8 р., которые тут же пропили»* [Б-ко 1890: 2]; тж. [АРГО. Ед. хр. 6. Л. 71] и пр.: *«старики <...> пропили корову (30 руб.), 8 овец, телушку, <...> хотели было лошадь пропить, да побоялись»* [АРГО. Ед. хр. 6. Л. 71]. Кроме того, по мере потребления штрафного вина и пересечения определенного «алкогольного барьера» ситуация могла утрачивать как свой первоначальный правовой смысл, так и какой-либо смысл вообще (см. [Успенский 1986: 63–66, рассказ «Хорошее житье»])<sup>2</sup>.

---

чужих деревнях [АРЭМ Д. 1256. Л. 1; АРЭМ Д. 1119. Л. 24]. В кабаке могли строиться планы будущего воровства: [воры] *«не скрывали своей профессии и каждый вечер устраивали открытые заседания в одном кабаке, где и обсуждались предполагаемые на следующий день подвиги»* [Якушкин 1896: 72]. Пропивание денег в кабаке могло быть знаком совершенного преступления: *«По окончании воровства пьют вместе в кабаке на деньги, вырученные от продажи украденного, почему и догадываются о свершении ими кражи»* [АРЭМ. Д. 1139. Л. 49]. Среди воров мелкого «калибра» выделялась особая группа тех, *«которые вор[овали] из-за магарычей»*, т.е. крали нужные в хозяйстве предметы и затем за водку откупались хозяину, где их можно найти [АРЭМ. Д. 1119. Л. 9].

<sup>1</sup> Ср.: *«Тихон просил прощения и обещал крестьян поить целых два дня у волю водкой. Но крестьяне не прельстились на угощение, и решено было сейчас же приступить к наказанию»* [АРЭМ. Д. 1120. Л. 10].

<sup>2</sup> Из данного рассказа с очевидностью следует, что совместная выпивка могла быть самой главной и конечной целью «обычно-правового судопроизводства» и что конфликтные ситу-



Впрочем, несмотря на то, что подобные эксцессы могут показаться «патологическими», вопрос о том, переходит ли в таких случаях наказание свои собственные рамки, когда *«азарт берет верх над обменом»* [Рулан 2000: 176–177], не так прост и имеет отношение к пониманию самой сущности посрамительного наказания. Так, Сьюзан Крейн, исследовавшая посрамительные обряды европейского средневековья, считает, что они являлись *«ретроспективной инверсией»* тех событий, которые послужили их поводом, а природа позорящего наказания является непосредственным отражением природы того, что в нем порицается. В частности, посрамления, связанные с «неконвенциональной» свадьбой, не только «выявляли», но и «разыгрывали» ее «неправильность», но не столько для того, чтобы таким образом выразить общественное порицание, но чтобы получить своеобразную санкцию на бесчинства, происходящие во время самого посрамления. В этом смысле позорящее наказание можно определить как «нарушение, требующее другого нарушения для своего осуществления» (*«charivari figures itself as a transgression on a transgression»*), как то, что является «развитием» самого преступления (*«expands on that insult»*), в связи с чем его связь с судопроизводством вообще становится проблематичной (см. [Crane 2002: 143–145]).

Кажется, что приводимые выше примеры «обдирания» и пропивания, когда крестьянское общество «получает право» вести себя совершенно аналогично тому, как вел себя вор («взаимное воровство» как своеобразный тип обменных отношений), в определенной мере подтверждают эту мысль. Однако говорить о том, что этим исчерпывается весь смысл подобных ситуаций, мы бы не стали. В любом случае, для того чтобы понять, насколько эта идея применима в отношении различных видов позорящих наказаний на славянском материале интересующего нас периода времени, требуется дополнительный анализ.

Вначале мы говорили о том, что позорящие наказания, являясь феноменом обычно-правового характера, возникают «изнутри» и по инициативе того сообщества, которое испытывает в них необходимость. То же подтверждается и в выводах исследователей XIX в. (напр., [Наблюдения 1862: 54]). Хотелось бы, однако, более внимательно рассмотреть вопрос о том, кто же

---

ации могли провоцироваться специально ради того, чтобы «примириться на вине». Переориентирование ситуации с наказания на выпивку, как и само ожидание этого момента, могло, видимо, достигать такой степени, что у совершающих наказание вообще исчезала враждебность по отношению к вору (ср. *«И уж как все обрадовались вору-то, как батюшке родному. — Веди к кабаку!»* [Успенский 1986: 64]), изначальный повод — кража (если она вообще имела место) — становился как бы неважен, а значимым и желаемым становились лишь его обязательные последствия внутри «традиционного» сценария разрешения конфликта.

принимал решение о применении таких наказаний и как это связано со спецификой властных отношений в крестьянских сообществах.

*«Социально-политическая структура любого сообщества играет основную роль в выборе, который это общество делает среди множества возможных вариантов урегулирования конфликтов, или определяет, почему данное общество отдает предпочтение тем, а не иным способам»* [Рулан 2000: 162]. Согласно классификации Е.И. Якушкина, в пореформенной российской деревне существовали 8 инстанций, или форм крестьянского судопроизводства: самосуд, семейный суд, третейский суд, суд соседей, суд сельских судей, суд сельского схода, суд волостного схода, волостной суд [Якушкин 1975: XXIV]. И, хотя в связи с большой вариативностью обычно-правовых практик крестьян предложить какую-либо типологию инстанций, имеющих отношение к позорящим наказаниям, очень трудно, перечислим некоторые примеры. Решение подвергнуть вора посрамлению могли принимать: «старики», т.е. наиболее уважаемые члены общины [Надеждинский 1881: 283; Якушкин 1896: 357–358], деревенский сход [АРГО. Д. 6. Л. 54–55; Еланский 1861: 122–123; РГАЛИ. Ед. хр. 7. Л. 4–4 об.; РГАЛИ. Ед. хр. 8. Л. 91; РГАЛИ. Ед. хр. 11. Л. 84 об.], староста [Доброленский 1886: 4; Якушкин 1896: 71; АРГО. Ед. хр. 6. Л. 33; Якушкин 1896: 336], волостной суд [Якушкин 1896: 79; Костров 1876: 115] (в другом случае, впрочем, особо подчеркивалось, что посрамительные наказания волостными судами никогда не назначаются [Якушкин 1896: 345]).

Из всех перечисленных инстанций наиболее показательной представляется фигура старосты, который был «опосредующим» звеном между *«высшим начальством и крестьянами»* [АРЭМ. Д. 1139. Л. 21]. По закону постановления старосты имели силу *«предварительного судебного решения»* [АРЭМ. Д. 470. Л. 30], но в конфликтных ситуациях ему приходилось искать «золотую середину» между интересами и желаниями своих однодеревенцев, с одной стороны, и предписаниями более высокого начальства — с другой. Поскольку последнее далеко не всегда благосклонно смотрело на применение позорящих наказаний, а иногда и прямо запрещало их, действия старосты в подобной ситуации позволяют в определенной степени судить о реальной структуре власти в конкретном деревенском сообществе, а также о существующей в нем иерархии «обычных» и официальных правовых механизмов регуляции.

Приведем несколько примеров. Часть описаний свидетельствует в пользу того, что именно староста становился если не инициатором, то, по крайней мере, одним из главных участников

посрамления вора: [женщина украла курицу] *«И вот, по распоряжению старосты, этой крестьянке повесили на шею живую курицу и повели с триумфом по селу»* [Якушкин 1896: 71]; [воры украли зерно в соседней деревне] *«Староста дер. М. пригласил деревенскую музыку и распорядился, чтобы на длинный шест навязали решето и два снопа соломы из ячменя и ржи <...>; когда все было готово, староста приказал нести шест этот по улицам деревни и чтобы за этим шестом шла музыка, а виновный крестьянин С. плясал»* [Доброленский 1886: 4]; посрамительную процессию воровки, укравшей холсты, возглавлял деревенский староста: *«Позади [воровки] староста идет, за ним народ. Играют в сковороду, заслонку, ведро. Барабанный бой»* [АРГО. Ед. хр. 6. Л. 33]. Часто активными участниками вождения вора становились деревенские десятники, находившиеся в подчинении старосты [РГАЛИ. Ед. хр. 1. Л. 68 об.; РГАЛИ. Ед. хр. 7. Л. 3 об.; РГАЛИ. Ед. хр. 11. Л. 85; Якушкин 1896: 357–358]. Еще в одном примере староста выступает в роли скупщика имущества воровки, отобранного в уплату магарыча: *«Взяли принадлежащий ей полушубок и, заложив его сельскому старосте за один рубль, купили вина, которое выпили»* [Якушкин 1896: 336].

Впрочем, качество материалов не всегда позволяет судить о том, насколько «альтернативными» были наказания воров «внутренними» силами по сравнению с возможностью официальных судебных санкций. Вероятно, нередко сельский «мир» был поставлен в «безысходное положение», когда «уездная полиция, при малом ее составе и при огромных пространствах, на которых приходится ей действовать, [была] не в силах оградить крестьян ни от воровства, ни от грабежей» [Якушкин 1875: ХХIX]. Однако возможна была и ситуация конфликта между «традиционными» и официальными правовыми инстанциями, в которой предпочтение, несмотря на нежелательные последствия, все же отдавалось «обычному наказанию»: *«Начальство взыскивает с сельского старосты за допущенное им даровое представление. Староста, вполне осознающий, что он страдает за мир, но в то же время понимающий, что „с миром не драться“, молча идет под арест, но неблагодарный мир при первой возможности повторяет ту же проделку и подводит под ответственность если не того же, то нового сельского старосту»* [Уманец 1881: 67]. Сельское общество могло предпринимать особые меры, чтобы начальство не узнало о случаях посрамления. Так, проведенная по селу с украденным холстом женщина пожаловалась земскому начальнику, после чего был собран сход, и муж должен был дать ей *«тридцать ударов без всякой пощады»*, а наряд ее, пропит; в другом случае наказанным таким образом было запрещено *«доказывать начальству, грозя (в случае на обществе доказа) наказать виновного вдвое против прежнего»*

[АРЭМ. Д. 1125. Л. 4]. Только ли неверием в эффективность официального правосудия и применяемых им способов наказания можно объяснить столь упорное стремление следовать обычаю? И каким образом, несмотря на утверждение о том, что к концу XIX в. позорящие наказания стали выходить из употребления [Березанский 1880: 184], они, хотя и в усеченном варианте, могли сохраняться в деревне вплоть до 30-х гг. XX в.? (напр., [Белозер.-03. ПФ-1.4. ПЕФ; Белозер.-03. ПФ-1.10. ВАД; Белозер.-03. ПФ-1.12. ПЕА; Белозер.-03. ПФ-1.13. БЛП; Белозер.-03. ПФ-1.14. КАА]).

Вряд ли можно дать краткий и однозначный ответ на эти вопросы.

С одной стороны, можно, наверное, говорить о консерватизме крестьянских обычаев (в том числе и правовых) и о том, что оправдание посрамительных наказаний крестьяне видели именно в их «традиционности» (ср. «так <...> поступают с провинившимися крестьянами своего общества еще исконо веку» [Тенишев 1907: 42])<sup>1</sup>.

С другой стороны, посрамление, являясь санкцией в первую очередь психологического характера [Рулан 2000: 169], не было в строгом смысле «альтернативным» по отношению к таким наказаниям, как, например, штраф или арест. Позор и унижение, которым подвергался человек во время публичного посрамления, надолго закрепляли за ним (а также, возможно, и за членами его семьи) негативную репутацию<sup>2</sup>; иногда же даже смерть не снимала общественной стигмы, и некоторым ворах устраивали «посмертное посрамление»: «*Пахома Голубева <...> хоронили с барабаном и с палками, кинули головою в могилу и прокляли „отныне — доныне“, до веку*» [АРГО. Ед. хр. 6. Л. 47]. Конечно, элемент «позорности» присутствует и в таких нака-

<sup>1</sup> В этом смысле интересно обратить внимание на «протестный» аспект этой традиционности, находящей выражение в сопротивлении низовой культуры насаждаемым «сверху» инновациям: «*The plebian culture is rebellious, but rebellious in defense of custom*» [Thompson 1993: 9].

<sup>2</sup> Воровская репутация сама по себе, даже вне связи с публичным посрамлением, могла значительно модифицировать практики внутридеревенского взаимодействия. Во-первых, страх прослыть воровом в глазах однодеревенцев мог удерживать крестьян от воровства или заставлял их быть более осторожными: «*Пойдет молва, <...> десятки лет такой славы не сможешь*» [АРЭМ. Д. 1815. Л. 4]. Во-вторых, именно на имевшего репутацию вора в первую очередь падало подозрение всякий раз, когда случалась новая кража: «*Сейчас же собрали сход и всем сходом [шли] делать поголовный обыск <...> Больше всего обыскива[ли] те дома, где зна[ли], что хозяева на руку нечисты*» [АРЭМ. Д. 818. Л. 43]. В-третьих, тому, кто был известен как вор, обычно не давали мирских должностей [Небольсин 1862: 400]. Социальное отчуждение могло принимать и более радикальные формы: «*Даже с прощенным воров хуторяне впоследствии не общались, в связи с чем вор вынужден был переселиться в другое место*» [Мануйлов 1998: 17]. В-четвертых, подозрение в воровстве открывало широкий простор для инвективного творчества: «*Самым высшим оскорблением считается ругательство, соединенное с укоризною в чем либо позорном — воровстве, мошенничестве и т.п.*» [Бондаренко 1890: 79]; тж. [АРЭМ 7/856: 12; Якушкин 1875: XXXVI].

заниях, как штраф, арест или общественные работы, однако в публичном «вождении» по деревне, подобном описанным выше, она, очевидно, достигает своего наивысшего выражения.

Иными словами, действие позорящего наказания не исчерпывалось контекстом приведения приговора в исполнение. Его «инерция» могла сказываться на протяжении более длительного времени: [после «проведения по деревне»] *«вор, если же особенно из одного села или деревни, приходит в отчаяние, или лишается ума, или подвергается самоубийству как то: удавлению, или зарезанию самого себя»* [РГАЛИ. Ед. хр. 8. Л. 90 об.]; посрамление *«так чувствительно действовало на виновных, что они большею частью бросали навсегда свою дурную привычку и делались честными людьми. Но бывали и такие случаи, что униженный публичностью своего проступка воришко, с отчаяния и стыда, делался после того отчаянным вором»* [Успенский 1859: 40]. В этом смысле можно сказать, что «объем» позорящего наказания был большим, чем у обезличенного официального. Посрамление, всегда направленное на конкретного человека, не только выполняет реститутивную функцию, но и «надстраивает» над этим дополнительный уровень морально-нравственного порицания, исходящего от ближайшего окружения преступника. Это позволяет говорить о большей действенности позорящего наказания по сравнению с официальными санкциями, а также объясняет тот страх, который испытывали перед ним крестьяне (ср.: *«Этого наказания, — объяснили крестьяне, — пуще всего бояться»* [Труды 1873 IV: 6]).

Таким образом, позорящие наказания имеют во многом психологическую природу; культуру, в которой такие наказания являются действенными, в которой стыд — инструмент общественного контроля, можно, в терминах Р. Бенедикт, описать как «культуру стыда», ориентированную не столько на интеръеризированную оценку человеком своих поступков, сколько на внешнее суждение.

В дальнейшем, на примере других типов позорящих наказаний, мы надеемся более подробно описать позор как особую «моральную экономию» крестьянского сообщества второй половины XIX — начала XX вв.

## Приложение

В приложении приводятся некоторые наиболее характерные описания позорящих наказаний. Более подробную подборку см. в статье А.Л. Рогачевского [К истории обычного права в России в XIX в. [из архива Русского Географического общества]. Часть III. Имущественные посягательства // Юридическая мысль. 2003. № 2. С. 11–24].

*«Киевскому Телеграфу сообщают о следующем случае крестьянского самосуда в Сквирском уезде. В один из праздничных дней, крестьяне села Т. все вышли к корчме, чтобы позевать на позорную казнь молодой крестьянки, уворовавшей у соседа курицу собственно для того, „щоб оскоромыця“, т.е. чтобы хоть в праздничный день поесть скоромных щей, так как она при бедности не имела средств на покупку сала. И вот, по распоряжению старосты, этой крестьянке повесили на шею живую курицу и повели с триумфом по селу. Следом за ней шла вся молодежь и своим буйным криком и свистом оглашала воздух; к этим крикам еще присоединились удары палками в доски, кружки и т.п. и крик курицы, висевшей на шее у несчастной» [Крестьянский самосуд. [Ст. без загл.]. СПб., Вед., 1876; 61. Цит. по: Якушкин 1896: 71].*

[У отставного унтер-офицера украден тулуп; он случайно находит его у крестьянки Егоровой и объявляет об этом старосте] *«Собран был сход, куда призвали обвинявшуюся в воровстве Егорову. [она сначала отрицает вину, потом признается:] „Виновата, окаянный смутил“. — „Да, это всегдашняя бабья отговорка; как век начался, вас все окаянные мутят. — Слушайте, старики <...> постегать прутьями ее нельзя, потому что она беременна; пусть поставит ведро винца, выпьем, да и Бог ее простит. Ну, что Афанасий, задумался? Выкупай Егоровну-то свою; а то в волостное правление притянем, там больше станет: волосянку-то надерут не по-нашему“. — „Я бы радехонек, Осип Хвилантьевич, да деньжонок-то нет, — какие были, недавно в подать отдал“. — „Э, брат, ты хочешь на сухую отделаться; нет, порусски так не мирятся. Нечего на него смотреть-то; пойдём, старики, стащим у него что-нибудь; зложим, выпьем“. Зложили сани и на полученные деньги выпили ведро вина. [Говоря о сторонниках судьбы-аматера, надобно разуметь не все общество, а только человек 15 или 20 деревенских пьяниц-горлохватов, любящих попить на чужой счет, в особенности при подобных случаях]. Такая-то толпа полупьяных мироедов, не досыта угостившаяся, свела с двора Афанасия быка. Пропили и быка. Наконец, по выражению Филатьевича, — в острастку прочим ворам и для того чтобы муж жене давал уем, одели Афанасия в краденый тулуп и водили по всем улицам с барабанным боем. Филатьевич плясал впрысядку, а истец-солдат приговаривал: „Вот так,*

по-военному, вот так, по-военному“. Барабан заменяли чугунный печной заслон и железное ведро. Пройдя улицы, пришли опять в дом воровки. — „Ну, Афонасий, теперь, после праведных трудов, ведерка два или три возьми, брат, еще, да и Бог с тобою“. — „Денег, старики, нет, — что хотите делайте“. — „Ну, когда денег нет, — так корову за рога, да и в шинок“. — Пропили корову, и тем дела покончили» [Еланский 1861: 122–123].

«В сибирских деревнях, как и в некоторых местностях европейской России, существует очень оригинальный способ наказания за мелкие кражи. Уличенному в краже и пойманному с поличным вору, мужчина то или женщина безразлично, по приговору обществ, или по распоряжению сельских и волостных властей, навязывают на спину или на шею, смотря по удобству, украденную вещь и с этим украшением водят вора по улицам села, для всеобщего позора и поругания. Это шествие сопровождает обыкновенно толпа любопытных и преследует несчастного вора насмешками, хохотом, побоями <...> Исполнители этого наказания бывают преимущественно деревенские десятники, вечно пьяные и до крайности наглые и нахальные, которые с необузданными цинизмами издеваются и глумятся над жертвами наказания, одобряемые хохотом толпы.

В августе месяце мне довелось быть свидетелем в с. А-ском возмутительной сцены в этом роде. Из ворот волост. правления двинулась процессия. Впереди меня десятник и, барабана палкою в печную заслонку, пел какую то плясовую песню; за ним два мужика вели под руки женщину, на спине которой были навязаны пучки картофельной ботвы. Процессия двинулась вдоль улицы и к ней примыкали любопытные. В каждом доме отворились окна и показывались смеющиеся лица, мальчишки тюкали и свистали; собаки, подзадоренные криком и свистом мальчишек, бежали за процессией и покрывали весь этот шум оглушительным лаем <...>

Надо было видеть страдальческую фигуру женщины, чтобы судить о тяжести и нравственности страданий, пережитых ею в эти моменты. Она несколько раз порывалась сбросить улику ее проступка, но за всякую попытку десятник угощал ее ударами палки. Изнемогая от стыда и нравственной муки, она решила лечь среди грязной улицы, чтобы избавиться от своих мучителей. — Ты ее в рожу-то, в рожу-то пни хорошенько ногой! — небось поймет!.. — советовали из толпы исполнителю наказания. Но опытный в своем деле десятник знал, как сильнее подействовать на непокорную преступницу, и его глумления над лежащею женщиною дошли до такого нахальства и цинизма, что рассказывать уже неприлично... А толпа на его выходки раздражалась дружным одобрительным хохотом. Женщина быстро встала на ноги и как-то нервически скоро пошла по улице, точно разом

решив осушить всю чашу нравственных страданий, унижений, нахальства обид и поруганий» [Суд над женщиной // Сибирь. 1877. 3. Цит. по: РГАЛИ. Ф. 586. Оп. 2. Ед. хр. 1].

«1874 года Мая 22 дня, Волостной старшина Пошехонского уезда; Ермаковской волости Петров, в присутствии нижеподписавшихся постановил настоящий акт в следующем: Настоящего числа, часов в 11 дня, мною замечено следующее возмутительного характера обстоятельство: по улице села Ермакова, расположенному по большому тракту, идет толпа народа, сопровождаемая бряцанием колокольчиков, бубенчиков и битьем в заслонку. В толпе этой ведется женщина, оказавшаяся крестьянкою села Ермакова Катериною Евдокимовою, обнаженная с верху до пояса с распростертыми и привязанными к колу руками и обверченная полотном. Это, как объяснилось дознанием, было наказание за кражу Евдокимовой полотна. Из сопровождавших толпу мною замечен сельский староста Ермаковского № 2 [№ 2 зачеркнуто. — А.К.] общества Иван Васильев. Вследствие чего прекратил все и тотчас же приступив к дознанию нашел следующее: [конец Л. 84].

Крестьянка села Ермакова Катерина Евдокимова на спрос мой отвечала, что обнаженную сверху до пояса, опутанную в полотно, сейчас вели ее за то, что она „глупо сделала“, украла полотно у кр. Марии Ивановой. Она показала, что ей покуда дали раздеться до нага, но она не разделась; побоев ей не наносили, а на спрос, отчего подбит у нее правый глаз, она отвечала, что это сделал свекор ее Абрам Андреев. Сделать над нею такое наказание распорядилось общество крестьян, к которому она принадлежит, с участием старосты Ивана Васильева. Староста Васильев показал, что наказание за кражу ею полотна у кр. Ивановой назначило сельское общество, в присутствии которого находился и он. На сходе были крестьяне села Ермакова Николай Алексеев, Федор Васильев, Александр Максимов и Александр Кузьмин. Сход крестьян требовал, чтобы раздеть Евдокимову до нага, но он как староста не велел этого делать. При наказании находился он, староста и крестьяне: Николай Алексеев, который Евдокимову вел, сельский десятский Александр Максимов, барабанивший [в] заслонку, и все остальные сопровождали ее с места, которым был ее дом, но некоторые отстали, а кто не припомнит; в колокольчики же звонили крестьянские дети того же села Василий Кузьмин и Василий Иванов. Крестьяне Ермаковского общества, перечисленные выше, показали, что наказание Евдокимовой они назначили действительно с общего согласия, но вынуждены были к тому следствием развратной жизни Евдокимовой, пьянствовавшей и замеченной в кражах, не говоря уже о домашних. Староста и крестьяне ответили, что хотя процессию наказания Евдокимовой провозжала и большая толпа народа, что были



женщины и дети, но кто именно, объяснить не могут, так как не примечали этого.

*Подписал Волостной старшина Петров» [Л. 85] [РГАЛИ. Ф. 586. Оп. 2. Ед. хр. 11].*

*«Мой взгляд на быт государственных крестьян Грязливецкого Отдельного Сельского Общества, Ярославской губернии, в Мологском уезде.*

*У крестьян, говорят, почти не бывало никаких дел по судебным и присутственным местам. Это объясняется, с одной стороны, тем, что в них еще живо сохранилось завещанные им предками, внушенные самой природою правила честности, а с другой — тем, что в случае каких-нибудь нарушений этих правил у них существует свой суд и расправа. Это бывает обыкновенно так: заметят, что кто-нибудь провинился в чем-либо, сейчас десятского. Эй, вести народ на улицу, — говорят ему. Десятский, обходя деревню, стучит под окном каждого дома и кричит: на улицу! — знак, что хозяин дома, или, в случае его отсутствия, старший по нем, непременно должен выйти из своего дома, на известное уже место, на улицу. Собираются таким образом все домохозяева деревни и толкуют — как и чем решить дело. После разных рассуждений и прений, наконец, по большинству голосов, дело решается — виновный или прощается на первый раз, с строгим внушением — впредь подобного не делать, или приговаривается к известному наказанию, наприм. чтоб причиненный убыток заплатил за убыток вдвое, — обидевший чтоб испросил прощение у обиженного или заплатил ему за обиду. Если кто украл у кого-либо что-нибудь, или если у кого найдут краденое, то виновного кругом обвешивают крадеными вещами и, собравши весь народ на улицу, с барабанным боем, т.е. со стуком в доски, в сковородки, в железные листы, со звоном в колокольчики и т. под., проводят несколько раз вдоль улицы и, в заключение, при всем собрании народа, среди (sic) улицы, наказывают розгами. А если покража довольно значительная, то с тем же барабанным боем водят виновных и по соседним деревням и наконец сдают начальству. Почти то же бывает с нарушителями правил о запрете на репу. Запрет на репу — это значит: так как репа у всех крестьян известной деревне сеется в одном месте, — для чего обыкновенно отводят они себе часть поля; то, чтобы не могло последовать преждевременного потребления этого овоща, всем и каждому, до известного времени, запрещается пользоваться репой, и запрет этот охраняет овощ лучше всякого, самого строгого, караула. Помилуй Бог — переступить этот запрет. Искушения, говорят, чаще падают на женщин. Виновную, по приговору собрания, при стечении всех жителей деревни, в каком-нибудь странном, смешном наряде и с коровьим колокольчиком*

(т.е. с колокольчиком, который обыкновенно навязывают коро-  
вам на шею, когда опускают их на пастбище в лес, чтоб, посред-  
ством звона от этого колокола, удобнее было их отыскивать) на  
шею, проводят несколько раз вдоль улицы, наговаривая ей, со всех  
сторон, разные нравоучительная наставления, с присовокуплени-  
ем, в иной раз, и розог. Подобные запреты бывают и на ягоды в  
лесе (sic), чтоб дать время им созреть, как следует» [Л. 4–4 об.]  
[28 Декабря 1859 года] [РГАЛИ. Ф. 586. Оп. 2. Ед. хр. 7].

### Сокращения

- АРГО — Архив Русского Географического общества  
 АРЭМ — Архив Российского этнографического музея  
 Белозер. — Белозерский р-н Вологодской обл  
 ГВ — Губернские ведомости  
 ЖС — Живая старина  
 ПФ — Полевая фонограмма  
 РГАЛИ — Российский государственный архив литературы  
 и искусства  
 ЭО — Этнографическое обозрение

### Библиография

- Барсов Е.В.* Обзор этнографических данных, помещенных в разных  
губернских ведомостях за 1873 г. // Протоколы заседаний  
Этнографического Отдела / Известия Общества Любителей  
естествознания, антропологии и этнографии / Ред. Н.А. По-  
пов. М., 1874. Т. XIII. Вып. 1. Заседание 9. С. 77–84.
- Белова О.В.* Время в славянских этиологических легендах и поверь-  
ях // Время и календарь в традиционной культуре. Тезисы  
докладов всероссийской научной конференции. СПб., 1999.  
С. 30–32.
- Бенда-Бекманн фон К.* Правовой плюрализм // Человек и право.  
Книга о летней школе по юридической антропологии (г. Зве-  
нигород, 22–29 мая 1999 г.) / Отв. ред. Н.И. Новикова, В.А. Тиш-  
ков. М., 1999. С. 8–23.
- Бергсон А.* Смех / Анри Бергсон. Тошнота / Жан-Поль Сартр. Дороги  
Фландрии: Пер. с фр. М., 2000.
- Березанский П.* Обычное право крестьян Тамбовской губ. Киев, 1880.
- Б-ко В.* Заметки из прошлого // Тамбовские ГВ. 1890. 13 марта  
[№ 26]. Часть Неофиц. С. 2.
- Бондаренко В.* Очерки Кирсановского уезда, Тамбовской губ. // ЭО.  
1890. № 3. С. 62–90.
- Брандт А.Ф.* Юридические обычаи крестьян Могилевской губ. //  
Сборник юридических народных обычаев С.В. Пахмана. СПб.,  
1900. Т. II. С. 97–118.
- Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А.* Энциклопедический словарь. СПб., 1898.  
Т. XXIV А.

- Булыгина Т.В., Шмелев А.Д.* Грамматика позора // Логический анализ языка: языки этики / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова, Т.Е. Янко, Н.К. Рябцева. М., 2000. С. 216–235.
- Быт Малорусского крестьянина [преимущественно в Полтавской губ.] // Этнографический сборник РГО. СПб., 1858. № 3. С. 19–47.
- Верещагин Е.М.* Один случай семантико-поведенческой парадигмы: ἐλέγχειν и обличати // Филологический сборник к 100-летию со дня рождения академика В.В. Виноградова / Отв. ред. М.В. Ляпон. М., 1995. С. 81–90.
- Виноградова Л.Н.* Ритуалы типа «вождения ряженого» // *Filologia Slavica*. [К 70-летию акад. Н.И. Толстого]. М., 1993. С. 24–31.
- Воронов А.Г.* Юридические обычаи Остяков Западной Сибири и Самоедов Томской губернии // Сборник юридических народных обычаев С.В. Пахмана. СПб., 1900. Т. 2. С. 1–50.
- Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. / Ред. А.И. Бодуэн де Куртенэ. М., 1998.
- Доброленский М.* Стародуб // Черниговские ГВ. 1886. № 38. С. 4.
- Еланский М.* Материалы для физиологии общества. 3. Деревенский суд // Самарские ГВ. 1861. 29 апр. [№ 17]. Часть Неофиц. С. 122–123.
- Ефименко П.С.* Сборник народных юридических обычаев / Сост. П.С. Ефименко. Архангельск, 1869. Вып. 3. [Тр. Архангельского губерн. стат. ком. за 1867 и 1868 г. Кн. 1].
- Заметки* о грамотности крестьян // Казанские ГВ. 1865. 19 нояб. [№ 47]. С. 493–494.
- Зеленин Д.К.* Описание рукописей Ученого архива Императорского Русского Географического общества. Пг., 1915. Вып. 2.
- Зеленин Д.К.* Описание рукописей Ученого архива Императорского Русского Географического общества. Пг., 1916. Вып. 3.
- Калачев Н.В.* Об отношении юридических обычаев к законодательству // Сборник народных юридических обычаев / Ред. П.А. Матвеев. СПб., 1878. Т. I. С. 1–11.
- Костров Н.* Юридические обычаи крестьян-старожилов Томской губернии. Томск, 1876.
- Крюкова С.С.* Правовая культура русских крестьян в России XIX в.: проблемы и интерпретации // ЭО. 2003. № 1. С. 98–124.
- Кулишер М.И.* Очерки сравнительной этнографии и культуры. СПб., 1887.
- Логинов К.К.* Материальная культура и производственно-бытовая магия русских Заонежья: [конец XIX — начало XX в.]. СПб., 1993.
- Лоначевский А.И.* Криница // Записки Юго-западного отдела ИРГО. Т. II за 1874 г. Киев, 1875. С. 130–135.
- Максимов С.В.* Куль хлеба: Нечистая, неведомая и крестная сила. Смоленск, 1995.
- Мануйлов А.Н.* Преступление и наказание по обычному праву кубан-

ских казаков [воровство и самосуд] // Голос минувшего: Кубанский исторический журнал. 1998. № 3–4. С. 14–21.

*Матвеев П.А.* Очерки народного юридического быта Самарской губернии // Сборник народных юридических обычаев / Ред. П.А. Матвеев. СПб., 1878а. Т. I. С. 11–47.

[*Матвеев 1878б*] Самосуды у крестьян Чистопольского у., Казанской губ. // Сборник народных юридических обычаев / Ред. П.А. Матвеев. СПб., 1878б. Т. I. Отдел III.

*Матвеев П.А.* Программа для собирания народных юридических обычаев: Суд и расправа // Слово. 1879. № 7.

Наблюдения мирового посредника о некоторых юридических обычаях у крестьян Полтавской губернии Кременчугского у. // Основа. 1862. № 2. С. 17–34.

*Надеждинский Г.* Село Голицино [Аткарск. у.] // Саратов. Сборник, изд. Саратов. Стат. Ком. Саратов, 1881. С. 249–285.

*Назарьев В.Н.* Современная глушь: Из воспоминаний мирового судьи // Вестник Европы. 1872. № 2–3. С. 131–182.

Назидательный рассказ о сновидении, виденном послушником Ново-Афонского Синога-Канаитского монастыря. Пг., 1915.

Назидательный рассказ о сновидении, виденном послушницей Тихвинского Введенского монастыря. Пг., 1915.

*Новичкова Т.А.* Сор и золото в фольклоре // Канун. Полярность в культуре / Ред. Д.С. Лихачев. СПб., 1996. С. 121–157.

*Оболенский А.* Основная причина крестьянского нестроения. СПб., 1894.

*Павлов-Сильванский Н.Н.* Программа по изучению правового быта и правовых обычаев. Л., 1927. Отд. отд. из журн.: Краеведение. 1927. № 3, 4.

Программа для собирания народных юридических обычаев Комиссии собирания народных юридических обычаев при Отделении Этнографии Имп. Русского Геогр. об-ва. СПб, 1889.

*Рулан Н.* Юридическая антропология: Учебник для вузов / Ред. В.С. Нерсесянц. М., 2000.

*Сахаров В.* Эсхатологические сочинения и сказания в древнерусской письменности и влияние их на народные духовные стихи. Тула, 1872.

*Тенишев В.В.* Правосудие в русском крестьянском быту: Свод данных, добытых этнографическими материалами покойного князя В.Н. Тенишева. Брянск, 1907.

Труды комиссии по преобразованию волостных судов. СПб., 1873. Т. 4. Харьковская и Полтавская губ. 1874. Т. 5. Киевская и Екатеринославская губ.

*Уманец Ф.М.* Из моих наблюдений по крестьянскому делу. СПб., 1881.

*Успенский Т.* Очерк юго-западной половины Шадринского у. // Пермский сборник: Повременное издание. М., 1859. Кн. 1. С. 1–42.

- Успенский Н.* Издалека и вблизи: Избранные повести и рассказы / Сост., вступ. ст. и примеч. С.И. Чуприна. М., 1986.
- Харузин Н.* Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда, Олонецкой губ. // Сборник сведений изучения быта крестьянского населения России [обычное право, обряды, верования и пр.] / Ред. Н. Харузин. М., 1889. Т. 1. С. 334–406.
- Якушкин Е.И.* Обычное право: Материалы для библиографии обычного права. Ярославль, 1875. Вып. 1.
- Якушкин Е.И.* Обычное право Материалы для библиографии обычного права. Ярославль, 1896. Вып. 2 [1876–1889].
- Ясинская М.В.* Проклятие в традиционной культуре: обзор книги А. Энгелькинг «Проклятие. Исследование о народной магии слова» [Вроцлав, 2000] // ЖС. 2003. № 2. С. 51–53.
- Crane S.* Wild Doubles in Charivari and Interlude // The Performance of Self. Ritual, Clothing and Identity during the Hundred Years War. University of Pennsylvania Press, 2002. P. 140–175.
- Geertz C.* Local Knowledge. Further Essays in Interpretive Anthropology. Fontana Press, 1983.
- Ingram M.* Ridings, Rough Music and the «Reform of Popular Culture» in Early Modern England // Past and Present. 1984. November. No. 105. P. 79–114.
- Thompson E.P.* Customs in Common. Studies in Traditional Popular Culture. The New York Press, 1993.

#### **Архивные материалы**

##### **Архив Русского Географического общества**

Ф. 12 [С.М. Пономарева]. Оп. 1. Ед. хр. 6. Ед. хр. 7.

##### **Архив Российского этнографического музея**

Рукописный отдел. Ф. 7 [князя В.Н. Тенишева]. Оп. 1.

Д. 315. Вологодская губ., Никольский у. Шадрин А. 1899 г.

Д. 470. Казанская губ., Спасский у. Иванов Т. 1899 г.

Д. 805. Новгородская губ., Череповецкий у. Антипов В. 1899 г.

Д. 1108. Орловская губ., Орловский у. Костин Ф. 1899 г.

Д. 1120. Орловская губ., Орловский у. Костин Ф. 1899 г.

Д. 1125. Орловская губ., Орловский у. Костин Ф. 1899 г.

Д. 1139. Орловская губ., Орловский у. Михеев А. 1898 г.

Д. 1405. Псковская губ., Новоржевский у. Триумфов А. 1899 г.

Д. 1715. Смоленская губ., Юхновский у. Строганов В. 1898 г.

##### **Российский государственный архив литературы и искусства**

Ф. 586. Е.И. Якушкина. Оп. 2.

Ед. хр. 1. Якушкин Е.И. Выписки из статей, опубликованных в периодической печати и отдельных работ по вопросам этнографии [1840–1875 гг.]. Автограф, Е. Ч. I. [Суд над женщиной // Сибирь. 1877; 3].

- Ед. хр. 7. Народные юридические обычаи [в области гражданского права], собранные и записанные в Мологском и Пошехонском у. Ярославской губ. Рукописи разных лиц. Крайние даты: 1859, 1867, 1877 гг. и б.д.
- Ед. хр. 8. Народные юридические обычаи [в области гражданского права], собранные и записанные в Мышкинском, Романовском и Даниловском у. Ярославской губ. Рукописи разных лиц. Крайние даты: 1873 гг. и б.д.
- Ед. хр. 11. Л. 42. Этнографические материалы, собранные и записанные в с. Белозеро, Пошехонского уезда, Ярославской губернии [описание волостных судов и сходов, копии прошений крестьян по различным вопросам, записи обрядов и пословиц]. Рукопись. Тетрадь 5. Крайние даты: 1866–1867 гг.

**Полевые материалы** [Вологодская обл., Белозерский р-н, Шольский сельсовет]

- Белозер.-03. ПФ-1.4. 09.07.2003. пос. Зубово. Инф.: ПЕФ, 1919 г.р.  
Соб.: Кушкова А.Н.
- Белозер.-03. ПФ-1.10. 14.07.2003. пос. Зубово. Инф.: ВАД, 1932 г.р.  
Соб.: Кушкова А.Н.
- Белозер.-03. ПФ-1.12. 17.07.2003. пос. Зубово. Инф.: ПЕА, 1926 г.р.  
Соб.: Кушкова А.Н.
- Белозер.-03. ПФ-1.13. 17.07.2003. д. Есино. Инф.: БЛП, 1927 г.р.  
Соб.: Кушкова А.Н.
- Белозер.-03. ПФ-1.14. 16.07.2003. пос. Зубово. Инф.: КАА, 1907 г.р.  
Соб.: Кушкова А.Н.
- Белозер.-03. ПФ-3.8. 14.07.2003. д. Митино. Инф.: КИЯ, 1910 г.р.  
Соб.: Жаворонок С.И.